

Об исследовании источников по истории говора Москвы

Одна из самых неясных страниц в истории русского языка — история говора Москвы, хотя сохранившаяся московская письменность и ведет начало с XIV в. Отставание в исследовании этой проблемы объясняется многими причинами. Одна из них — довольно давнее ограничение исследуемого круга источников относительно немногими общеизвестными текстами и, вместе с тем, иногда некритическое использование их показаний, в свою очередь обусловленное формальным подходом к источникам, недостаточностью их анализа.

Обратимся к таким ранним источникам, как евангелия 1339 и 1358 гг. Представляя собой канонические тексты, переписывавшиеся обыкновенно тщательно, евангелия, естественно, не могут дать более или менее существенных сведений о московском говоре той поры. Но если тексты подобного рода воспроизводили тщательно, то тем значительнее их показания в тех немногих случаях, когда, несмотря на все внимание, сосредоточенность писца, воздействие родной, московской речи сбивало его со стези освященной традицией орфографии, например, в сторону аканья. По одиноким проявлениям последнего в указанных евангелиях нельзя заключать о столь же редких проявлениях его в московском говоре соответствующего времени. К сожалению, крайне редкие в текстах подобного рода отражения локальной фонетики иногда недостаточно обоснованно относят к разряду фактов, лишенных лингвистического значения, обусловленных так называемой графической ассимиляцией. Например, в написании *пра-*

дающимъ (ев. 1339) появление *a* в первом слого объясняют именно таким образом — ассимиляцией с *a* последующего слога¹. Подобную ассимиляцию допускают и в *ака* вместо *ако*: *ака* на нбси (ев. 1358), хотя одновременно говорится, что *ака* с *a* вместо *о* можно признать фонетическим написанием «с наибольшей вероятностью»². В описании того же евангелия встречаем и такое суждение: «Написания с *a* в книжных глагольных основах многократного вида объясняются морфологически и ни в коей мере не указывают на наличие аканья» — речь идет о написаниях *оукарати*, *съвпрашати*, *напаше*, *ражаецса*, *оутанаху* в мори и др.³ Фонетическое значение этих случаев категорически исключается при наличии в той же рукописи и вариантов с *о* вроде *оукарати*. Заметим кстати: в определенной части русских народных говоров можно найти и фонетическое обоснование подобных написаний. В этих говорах *a* вместо *о* в предупредительном положении возможно только при гласном *a* в слого под ударением. В современной науке такое состояние считают ранним этапом перехода от системы оканья к системе аканья. Аналогичное состояние, можно думать, имело место и в прошлом в истории ряда говоров.

Касаясь фонетической достоверности тех или иных написаний, следовало бы принимать во внимание не только самый характер текста (в данном случае канонический), чем в значительной степени определялось особое отношение к нему писцов, но, кроме того, и специфику его рукописного воспроизведения. При списывании с оригинала, исполненного уставом, происходило побуквенное воспроизведение текста. Во всяком случае, уставное, несвязное письмо оригинала, к тому же несколько «рисованное» и без деления на слова, ориентировало именно на это. Графическая ассимиляция возможна скорее при копировании связного письма — текста, исполненного скорописью, в условиях несколько большего, в сравнении с уставным письмом, графического автоматизма.

¹ См., напр.: А. М. С е л и щ е в. Избранные труды. М., 1968, стр. 203.

² О. А. К н я з е в с к а я. К истории русского языка в Северо-Восточной Руси в середине XIV в. (Палеографическое и фонетическое описание рукописи Московского евангелия 1358 г.) «Труды Ин-та языкознания», т. VIII. М., 1957, стр. 162.

³ Там же (разрядка наша. — С. К.).

Лингвистическое исследование древнего текста имеет непрременной предпосылкой и знание характера его орфографии. Поскольку в обычном русском письме редукция безударных гласных выявляется лишь вопреки орфографии, тогда как существование оканья за орфографическим «фасадом» признается априори, противопоставление *а канье*—*о капье* при исследовании памятников русской письменности считаем несостоятельным и находим реальным только *а канье*—*отсутствие а канья*. В самом деле: старинное *аканье* так или иначе документируют отклонения от орфографии, а *оканье* просто предполагается на основании вольного отождествления фактов безударного вокализма с определенными правописными.

Связанные в общем с той же эпохой, что и упомянутые канонические тексты, грамоты великих московских князей представляют московский говор не только редкими «обмолвками» фонетического характера, как источники канонические, но дают известное представление о его фонетике в целом, о его лексическом составе, морфологии и синтаксисе. Однако думать, что московский говор представлен во всех его элементах, было бы опрометчиво: в духовных грамотах сказывается налет церковно-книжной фразеологии⁴, в договорных отложилась едва ли не общая в то время на Руси фразеология междукняжеских отношений. К тому же обыкновенно не указывается, кем грамота написана, что всегда вызывает сомнение в ее безусловно московском «качестве», а наиболее ранняя грамота (1339 г.) — духовная Ивана Калиты — писалась дьяком Костромой, возможно, если судить по прозвищу, и не москвичом. Принимая во внимание, что великокняжеские писцы были в достаточной степени опытными (и строй и правописание грамот не оставляют в этом сомнения), едва ли возможно ожидать в писанных ими грамотах более или менее значительных, не согласных с орфографией проявлений местного говора.

Не случайно скептическое отношение к робким признакам *аканья* распространяется и на грамоты. Например, колебание в огласовке упоминаемой в грамотах деревни

⁴ См.: О. В. Горшкова. Язык московских грамот XIV—XV веков (Лексика и фразеология). Автореф. канд. дисс. М., 1951, стр. 5.

Брошевая—*Брашевая* считают, возможно и справедливо, ненадежным свидетельством аканья (слово относят к числу «неясных по своему звуковому виду»⁵), но в то же время, видимо, не придают значения тому обстоятельству, что ранний вариант с *o*, а более поздние — с *a*. Не служит ли это все-таки, хотя и довольно слабою, приметой распространения тогда в московской округе аканья? Вместе с тем, напротив, в топониме *Растовець* не обязательно видеть проявление аканья: в древнерусском языке имеем *ростъ* и *растъ* с одной и той же семантикой (Срезн. Матер. IV, 92, 172).

При оценке заключенных в грамотах фактов с точки зрения отнесенности их к говору Москвы, понятно, приходится учитывать, в подлинном виде или в списке представлена та или иная грамота.

Возьмем список докончания великого князя Василия Дмитриевича с рязанским князем (1402 г.). В первой половине грамоты сочетания *кы* не встречаем, наблюдаем только *ки*: *рязанским*, *киевског(о)*, *великии*, *московских* и *коломенских*, *торусские*, *рязанские*; во второй половине преобладает *кы*: наряду с написаниями *с новосилским*, *татарьскиа*, *морьдовскиа*, *великим*, *кр(е)стьянские*, *великих* находим и *с торьскими*, *великы* (6 раз), *великих*⁶. Отмеченное в подлиннике подобное явление могло бы получить такое истолкование: в говоре писца грамоты противоборствовали *кы* и *ки*, при этом первое было связано с не вполне утраченным старым произношением, а второе — с необходимостью равнения на новое, уже обладавшее в устной речи и получившее закрепление в письменной; сначала, пока не рассеивалось внимание, писец сосредоточенно следовал этой новой норме, а затем, при ослаблении внимания, стал, естественно, сбиваться на еще непреодоленную и для него привычную. Отмеченное в списке аналогичное явление допускает и иное истолкование: в составлении оригинала грамоты принимали участие два писца, либо неодинаково внимательные, либо носители разных говоров, если видеть в написании *кы* отражение произношения, а не лишенный устного основания элемент письменной традиции.

⁵ А. М. Селищев. Указ. соч., стр. 203.

⁶ См.: «Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв.». Подгот. к печати Л. В. Черепнин. М.—Л., 1950, стр. 52—55.

Расхождения в интерпретации некоторых данных, заключенных в оригиналах или списках, возможны и в области морфологии. В области лексики показания списков, в сравнении с данными оригиналов, можно, видимо, считать не менее надежными, если, впрочем, исключить невольные искажения текста со стороны переписчика. Надежность объясняется не только тем, что замена слов оригинала в составе списка иными словами с точки зрения «технологии» копирования маловероятна, но и самым характером грамот — строго юридическим. Понятно, речь идет о списках, в которых содержание подлинника не подверглось фальсификации.

Если сравнение списанных в разных зонах русского языка церковно-канонических текстов вроде евангелия не дает более или менее существенных сведений о региональной дифференциации словаря, сравнение в аналогичном плане грамот дает известное представление о характерных для московского говора отдельных лексических элементах. Однако вполне обоснованное выявление подобных элементов возможно лишь при том условии, если сравниваем грамоты, идентичные по содержанию или, в крайнем случае, их отдельные части, идентичные в том же отношении. Несоблюдение этого условия приводит к ошибочным заключениям. Вот один из примеров. К словам, появившимся первоначально именно в языке московских грамот и позднее (с конца XV—начала XVI в.) употреблявшимся в памятниках немосковского происхождения, О. В. Горшкова причисляет слово *деревня*. Делается это в результате сравнения московских и новгородских грамот⁷. Между тем в берестяной грамоте № 311, датируемой рубежом XIV—XV вв., называют *деревенку* Климецу Опарину⁸.

Иногда характерными для говора Москвы XVI в. называют некоторые лингвистические факты, отложившиеся в списках Домостроя, хотя принадлежность этих списков и, тем более, оригинала памятника к московской речевой культуре далеко не установлена. Следствием этого и слабой изученности средневековой русской письменности является невольное «прикрепление» прежде всего именно к Москве ряда таких лингвистических фактов,

⁷ См.: О. В. Горшкова. Указ. соч., стр. 14.

⁸ См.: А. В. Арциховский и В. И. Борковский. Новгородские грамоты на бересте. (Из раскопок 1956—1957 гг.) М., 1963, стр. 144.

которые исторически свойственны и многим немосковским говорам.

С. Д. Никифоров, исходя из фонетических наблюдений над Коншинским списком Домостроя, писал, например, следующее: «Изложенные выше факты дают основание думать, что писец Коншинской рукописи принадлежал к представителям среднерусского говора, складывавшегося в результате влияния на Владимирско-Поволжский говор акающего, по-видимому, Рязанского говора. Сходную фонетическую систему можно найти в говорах подмосковных районов, описанных в начале XX в. В. И. Чернышевым»⁹. Далее указывается аканье, яканье перед твердым ударным слогом и иногда в конечном заударном слоге, чаще же в безударных слогах еканье или иканье; указывается произношение *чн* как *шн*, диссимиляция вроде *что, што*, твердость конечных губных согласных (*кров, сем*) при наличии и мягкости (*кровь, семь*), твердое произношение суффиксального *н* в именах прилагательных (*малолетнай, позная* и др.), произношение мягкого *р* в случаях *черьви, перьвая* и под., протетическое *в* (*вострая, воспа*), утрата безударного *и* в повелительном наклонении (*паложь, прагонь*)¹⁰. Совокупность явлений подобного рода и по современным данным и по данным памятников, скажем, XVII в., известна не только подмосковным, но и многим прочим русским говорам. По этим признакам Домострой может быть и не московского, а иного происхождения.

Характеризуемые как типично северновеликорусские отдельные данные Домостроя в свете некоторых новых сведений из других письменных источников оказываются и южновеликорусскими. Таковы, например, названия *тын, горница, подклет* и *сенница*, на основании которых в числе иных С. Д. Никифоров относит прототип Домостроя к северновеликорусской области¹¹ и, поскольку связывает Домострой с Москвой, в какой-то степени признает основание говора Москвы в XVII столетии северновеликорус-

⁹ С. Д. Н и к и ф о р о в. Из наблюдений над языком Домостроя по Коншинскому списку. «Уч. зап. Московского гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина», 1947, т. XLII, стр. 29.

¹⁰ См. там же.

¹¹ См.: С. Д. Н и к и ф о р о в. Указ. соч., стр. 26. — Название *сенница* при этом попадает в северновеликорусские по ассоциации со словом *сенниж* в выражении *сенник на хлевах* (Купчая Кирилловского монастыря 1578 г.).

ским. Ср., однако, аналогичные факты в заведомо южно-великорусских памятниках XVII и начала XVIII в.: двор огорожен тыном (Белгород 1639, Прик. стлб. 124, л. 227); горница с комнатаю (Белоколодск 1696, Прик. стлб. 2216, л. 21); клеть на подклетех да черная горница с подклетам (Курск 1707, ф. 1136, оп. 1, № 336, л. 10); у меня ж згорѣло клѣть с хлѣбомъ да сenniца (Новосиль 1659, Бел. стлб. 419, л. 460). Можно привести и другие примеры.

Определенно написанные в Москве Судебники XV и XVI вв., Стоглав, Тысячная книга 1550 г., Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в. и некоторые иные московские тексты того же самого времени сохранились только в списках, да и с точки зрения содержания они далеко не таковы, чтобы давать явственное отражение обыденной речи москвичей XVI столетия. Понятно поэтому стремление исследователей привлечь к изучению подмосковные тексты, которые, в их представлении, применительно к данному времени могли бы в какой-то степени знаменовать московскую речь. При этом особое внимание проявляется к обширному фонду деловой письменности (в значительной части XVI в.) Иосифо-Волоколамского монастыря. Критическое сопоставление этих материалов и собственно московских помогает воссоздать общую картину состояния средневеликорусских говоров в упомянутую эпоху и высказать некоторые соображения об их взаимодействии и хронологии отдельных свойственных им явлений. Например, исследовав волоколамскую письменность соответственного периода, В. В. Иванов высказывает предположение: «Возможно, что XVI в. в истории волоколамских говоров и явился тем периодом, когда акающее произношение укрепилося как черта, общая для всех носителей диалекта» и далее: «. . . можно думать, что акающее произношение, развившееся в волоколамских говорах ранее, чем в Москве, было поддержано московским произношением»¹². Не касаясь того, насколько основательны или спорны эти предположения, отметим существенное обстоятельство: говор Москвы и волоколамский в исследовании Иванова разгра-

¹² В. В. И в а н о в. Из истории безударного вокализма русского языка (Аканье и сопутствующие ему явления в волоколамских говорах XV—XVIII вв.). «Вопросы истории русского языка». Под ред. П. С. Кузнецова. М., 1959, стр. 40.

ничиваются. Данных для их отождествления он не обнаруживает.

Иную оценку одному из волоколамских источников дает В. М. Марков. Обращаясь к материалам Расходной книги Волоколамского монастыря (1547—1561), Марков усматривает в них данные по истории московского говора. Исходным при этом принимается замечание М. Н. Тихомирова: «Язык рукописи обличает московского человека с его акающим говором. Казначей или писец, вносивший записи в книгу, не отличался особой грамотностью и писал без определенных грамматических правил. Едва ли мы ошибемся, если скажем, что этот памятник поэтому особенно интересен для изучения живого русского языка XVI века»¹³. «Считая это замечание вполне справедливым, — продолжает Марков, — следует уточнить его лишь в одном отношении, остановившись на вопросе: действительно ли составитель документа может считаться «человеком московским». Способствовать решению этого вопроса можно, как кажется, поставив в один ряд показания нашего источника и показания других московских документов XVI—XVII веков»¹⁴.

Наличие аканья, с одной стороны, в волоколамской Расходной книге, и, с другой, в московских памятниках той же самой эпохи позволяет Маркову заявить: нет оснований возражать Тихомирову, который считает казначея или писца москвичом¹⁵.

Доказательство близости аканья, представленного в Расходной книге, и аканья московского усматривается в том, что в положении после мягких согласных его отражение в данной книге подобно отмеченному П. Я. Черных в московском просторечии XVII в.: еканье в предударном и вообще начальных неударенных слогах при яканье в ударном положении¹⁶. Заметим: сближение по этому признаку волоколамских и московских текстов едва ли доказательно. Аканье в широком смысле слова знаком многим памятникам XVI—XVII вв., относимым к весьма обширной и немосковской территории. А что касается отражений

¹³ В. М. Марков. Язык «Расходной книги» Волоколамского монастыря. (Материалы к истории московского говора в XVI веке). Сб. «Памяти В. А. Богородицкого». Казань, 1961, стр. 165.

¹⁴ Там же, стр. 165—166.

¹⁵ См. там же, стр. 166.

¹⁶ См. там же, стр. 170.

аканья в положении после мягких, то соответствующая тенденция, хотя и менее ярко, выступает и в южновеликорусской письменности XVI—XVII вв.¹⁷ Учитывая это обстоятельство, в проявлении данной тенденции в немосковской средневеликорусской области трудно сомневаться. Словом, аканье Расходной книги можно ассоциировать не только с тем, которое наличествует в московских текстах.

То же следует сказать и по поводу отражения в данной книге гласного звука, передаваемого буквой *ѣ*: преимущественное написание *ѣ* в соответствии с ударяемым положением отличает помимо московских и многие другие тексты, в частности южновеликорусские¹⁸.

Особенно спорно признание московскими отдельных представленных в волоколамской книге явлений консонантизма. Имеем в виду прежде всего непереходное смягчение *к* в положении после мягких: *Иванкя, Сенкя, Панкя, Феткю*¹⁹. Как известно, Д. К. Зеленин полагал: «Москва довольно рано усвоила указанную диалектическую черту»²⁰. А. А. Шахматов, напротив, возражая Зеленину, писал: «Представляется весьма маловероятным, чтобы Москва имела когда-нибудь в своем говоре мягкое *к*»²¹. Марков, по его собственным словам, избирает компромиссное решение вопроса — «. . . допущение раннего существования в московском говоре мягкого *к*, поскольку оно, несомненно, было представлено в говорах тех южнорусских областей, которые ранее других объединились с Москвой, в частности в говоре Коломны. Позднее мягкое *к* могло быть устранено точно так же, как были устранены в московском говоре мягкие шипящие, фрикативное *з* и, по-видимому, некоторые другие южнорусские особенности консонантизма»²². Нарастание южновеликорусского влияния в московском говоре с XVI в. — факт, насколько нам известно, едва ли не общепризнанный. Устранение из говора

¹⁷ См.: С. И. Котков. Южновеликорусское наречие в XVII столетии. (Фонетика и морфология). М., 1963, стр. 63—82.

¹⁸ См. там же, стр. 36—44.

¹⁹ См.: В. М. Марков. Указ. соч., стр. 181.

²⁰ Д. К. Зеленин. Великорусские говоры с неорганическим и пепереходным смягчением заднебных согласных в связи с течениями позднейшей великорусской колонизации. СПб., 1913, стр. 533.

²¹ А. А. Шахматов. Отзыв о сочинении Д. К. Зеленина «Великорусские говоры. . .» — «Изв. ОРЯС», 1915, т. XX, кн. 3, стр. 341.

²² В. М. Марков. Указ. соч., стр. 180—181.

Москвы упомянутых южновеликорусских особенностей (разумеется, мягкие шипящие как явление общерусское в их число не входят) при нарастании в московском говоре южновеликорусского влияния кажется гадательным. Правдоподобней полагать: в эпоху средневековья в Москве таких особенностей не было. Например, материалы XVII в. определенно московского происхождения, в которых ясно проступает стихия народно-разговорной речи, об указанном смягчении *к* не дают никаких сведений²³.

Написания *Володке* (им. пад.), *Степанкя* в документе 1517 г. и *Наскя* (от *Анастасий*) в отрывке из розыскного дела 1521 г.²⁴, на которые иногда ссылаются как на московские свидетельства, могли принадлежать писцам родом из южного Подмосковья и к собственно московскому говору едва ли имеют отношение. В самом деле, эти случаи выглядят слишком одиночными на фоне значительного количества соответственных случаев с твердым *к* безусловно московского происхождения, рассеянных в самых разнородных текстах XVI в. Не случайно даже Зеленин, допуская наличие мягкого *к* в московском говоре XVI в., о принадлежности московским писцам документов 1517 и 1521 гг. говорил лишь предположительно.

Отнесение волоколамской Расходной книги к тому кругу источников, в которых отразился московский говор, пожалуй, не менее сомнительно и в свете других ее показаний. «Наш памятник, — указывает Марков, — позволяет судить о наличии в отраженном в нем говоре фрикативного *з*, поскольку целый ряд засвидетельствованных в нем написаний может рассматриваться как свидетельство близости артикуляций нужного нам палатального фрикативного звука и йота, представленного в различных положениях в слове. С одной стороны, буква *з* опускается, с другой — она пишется там, где присутствует йот»²⁵. Далее следуют примеры: *Ерман*, *Ерасимовим*, *Ерасимов*, *Ерасимову*, *от Ильгина дни*, *в великой месаг ъдъ*²⁶. Обращаемся вновь к московской письменности XVII в.: написаний *з* в соответствии с *ј* в ней не обнаруживаем, а написания

²³ См.: «Московская деловая и бытовая письменность XVII века». Изд. подгот. С. И. Котков, А. С. Орешников, И. С. Филиппова. М., 1968.

²⁴ См.: Д. К. Зеленин. Указ. соч., стр. 24—26.

²⁵ В. М. Марков. Указ. соч., стр. 181.

²⁶ См. там же.

кнеинѣ, кнеиня без *г* встречаем, к примеру, в грамотках, по-видимому рязанца родом, Д. В. Михалкова — владельца вотчин в Рязанском и Ряжском уездах ²⁷. Между прочим именно в рязанских местах отмечались и следы произношения *j* на месте фонемы γ перед гласным переднего ряда, и малограмотные написания вроде *воробги, гих, гим* (вместо *их, им*) ²⁸.

Заметим: отражения в книге близости *j* и γ' Марков приводит в доказательство существования в волоколамском говоре XVI в. *г* фрикативного образования. Вместе с тем высказывается мнение: «. . .по-видимому, и в XVII веке, и раньше в Москве было немало носителей говоров с интересующим нас звуком (имеется в виду фрикативное *г*. — С. К.)» ²⁹. О том, насколько это верно, мы скажем несколько позднее, а теперь обратимся к моменту палеографического характера. Приведение данных волоколамской книги как примет московского говора вряд ли является оправданным по той простой причине, что вопреки мнению Тихомирова об одном, московском, создателе книги (казначее или писце), по сведениям также самого Тихомирова, можно говорить и о ряде писцов: «Вся рукопись, размером в обычную четвертку, написана на 183 листах разными и полуставными и скорописными почерками» ³⁰. А там, где несколько писцов, да еще, возможно, из монастырской братии, нередко пестрой по происхождению из разных русских областей и, следовательно, разнодиалектной, трудно быть уверенным в том, что все они были москвичами.

Возвращаясь к вопросу о вероятном наличии фрикативного *г* в московском говоре XVII в., необходимо заметить: опираясь на данные, извлеченные из писем и бумаг Петра Первого, вполне определенно по этому поводу писал В. А. Богородицкий. «Согласный *г*, — утверждал Богородицкий, — имел спирантное (придувное) произношение и

²⁷ См.: «Московская деловая и бытовая письменность XVII века», стр. 42.

²⁸ См.: Р. И. А в а н е с о в. О качестве заднеязычной фрикативной согласной перед гласными переднего ряда в русском языке. «Институт языкознания. Доклады и сообщения», II. М., 1952. стр. 38—39.

²⁹ См.: В. М. М а р к о в. Указ. соч., стр. 181.

³⁰ «Книга ключей и долговая книга Иосифо-Волоколамского монастыря XVI века». Под ред. М. Н. Тихомирова и А. А. Зимина. М.—Л., 1948, стр. 11 (разрядка наша. — С. К.).

в конце слов сменялся на *x*: *бох. . . денех*»³¹. В применении не к индивидуальной речи, а к московскому говору в целом заключение это, можно думать, является ошибочным: в обширных материалах с ярко выраженными проявлениями народно-разговорной речи, составивших издание «Московская деловая и бытовая письменность XVII века», находим всего какой-нибудь пяток подобных случаев.

Значительная группа московских грамот послужила материалом для исследования Л. Л. Васильева «К истории звука *ѣ* в московском говоре в XIV—XVII веках»³². Не ограничиваясь обращением к известной публикации «Собрание государственных грамот и договоров», Васильев ознакомился с московскими грамотами непосредственно по рукописям в Публичной библиотеке Петербурга. Грамот XVI—XVII вв., в которых исследователь наблюдал интересующее его явление — сохранение буквы *ѣ* исключительно в слоге под ударением — привлечено было 142. Васильев — едва ли не единственный исследователь, изучавший непосредственно рукописи, а не только печатные воспроизведения этой группы московских текстов³³. Являясь официальными документами, последние несли на себе печать приказной регламентации и, в той или иной степени, орфографической традиции, почему и отражали московский говор с известным ограничением. Приказная фразеология этих источников и некоторая часть лексики представляются явно не характерными для устной народной речи. И все же для данного фонетического исследования они оказались достаточно надежными, о чем свидетельствуют интересные наблюдения и выводы Васильева. Исследуя замены буквы *ѣ* буквой *е* в положении после *ц* в слоге под ударением, ученый воспользовался и списком Космографии второй поло-

³¹ В. А. Богородицкий. Диалектологические заметки. IV. Московское наречие двести лет назад. «Уч. зап. Казанского ун-та», год LXIX, кн. 2, февраль. Казань, 1902, стр. 5.

³² См.: «Изв. ОРЯС», 1905, т. X, кн. 2.

³³ Работа П. Г. Стрелкова «О языке семи древнейших завещаний московских великих князей XIV века» («Сборник Общества исторических, философских и социальных наук при Пермском ун-те», вып. II. Пермь, 1927) в этом случае не в счет: изучено только семь текстов и притом лишь по фотографическим и рукописным копиям, с учетом дополнительных примечаний к первым, сделанным руководителем фотосъемки. Не случайно поэтому П. Г. Стрелков осторожно замечает: «Наличие указанных дополнений к снимкам приближало мою работу, по уверенности того или иного чтения текста, к работе по оригиналу» (стр. 107).

вины XVII в., который был, по его словам, «переписан безусловно лицом, говорившим московским говором и вполне владевшим московской орфографией»³⁴.

Отметим далее попытку представить говор московского населения по грамотам князя Никиты Одоевского. Изучая эти грамоты, П. Я. Черных не располагал их оригиналами, пользовался только изданием³⁵. Сообщая о том, что неизвестно, написаны ли грамоты Одоевским, а кроме того, «насколько точно воспроизведены особенности орфографии и языка грамот», Черных, тем не менее, видит в них памятник старомосковского просторечия, утверждая при этом, что «в Москве в середине XVII в. просторечие верхушечных слоев имущих классов ни в чем существенно не отличалось от разговорной (диалогической) речи простого народа»³⁶. Возможно, было и так, но утверждение это, по нашему мнению, нуждается в доказательстве. Возвращаясь к источникам, заметим: количество грамот (всего 17) для наблюдения в указанном аспекте представляется нам недостаточным. Недостаток материала в известной мере восполняется примерами из писем царя Алексея Михайловича, боярина Морозова, княгини Урусовой и князей Хованских — представителей тех же верхушечных слоев. Насколько в данной группе текстов отразился говор московских низов, остается только догадываться.

В свое время именно с точки зрения изучения истории московского говора внимание В. А. Богородицкого привлекло издание писем и бумаг Петра Первого. Воспроизведение писем Петра в издании — достаточно близкое к подлинникам, поэтому их свидетельства о живой московской речи надежнее показаний, заключенных в письмах Одоевского. В заметке «Московское наречие двести лет назад» Богородицкий указывал на особую ценность собственноручных писем Петра для изучения в этом плане. Стиль писем, по его определению, деловой, краткий и сильный, является «в двух различиях: стиль обыкновен-

³⁴ См.: Л. Л. Васильев. Несколько данных для определения звукового качества буквы ѣ. «Изв. ОРЯС», 1910, т. XV, кн. 3, стр. 191.

³⁵ См.: Ю. Арсеньев. Ближний боярин князь Н. И. Одоевский и его переписка с Галицкою вотчиною (1650—1684). М., 1903.

³⁶ См.: П. Я. Черных. Язык Уложения 1649 года. М., 1953, стр. 80—81.

ный или повседневный — в письмах приятельских и хозяйственно-распорядительных, и возвышенный — в письмах дипломатических . . . в последней категории писем встречаются в изобилии церковнославянизмы»³⁷. В заключение Богородицкий устанавливает: данные писем Петра сходны с данными, отмеченными в письмах царя Алексея Михайловича³⁸. Стилистическая неоднородность петровских писем, вполне понятно, исключает использование некоторых из них для изучения говора Москвы не только в лексикологическом, но частью в словообразовательном и грамматическом отношениях.

Правомерно К. В. Горшкова, обращаясь к истории московского говора, исследует эти источники, не выходя за грани фонетики³⁹. Вслед за Богородицким Горшкова пользуется их изданием. Исходя из того, что особенности произношения Петра сложились в Москве, в письмах его усматривается отражение московской фонетики. «Живой язык, отразившийся в „Письмах и бумагах Петра Великого“, — полагает автор исследования, — является проявлением разговорной речи, характерной для коренного населения города Москвы второй половины XVII в.»⁴⁰. Однако в этом случае мы знакомимся с речью, воплощенной в письме представителя верхов, а отнюдь не грамотных людей из основного московского населения. Даже если принимать во внимание предполагаемое отсутствие существенных различий между говором основного состава и верхов московского населения, петровские письма все равно не дают некоторых важных сведений о московском говоре той поры и прежде всего о регулярности и широте распространения в нем, а не в индивидуальной речи, определенного круга присущих ему элементов и явлений. В материалах, привлекаемых для сопоставления, встречаем письма царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, сочинение Котошихина о России, акты хозяйства

³⁷ В. А. Богородицкий. Указ. соч., стр. 8.

³⁸ См. там же.

³⁹ К. В. Горшкова. Из истории московского говора в конце XVII—начале XVIII века. Язык писем и бумаг Петра Великого. Автореф. канд. дисс. «Вестник МГУ», 1947, № 10; Она же. История безударного вокализма в старомосковском просторечии. «Вопросы истории русского языка». Под ред. П. С. Кузнецова. М., 1959.

⁴⁰ К. В. Горшкова. История безударного вокализма в старомосковском просторечии, стр. 83.

боярина Морозова и принадлежащие XVIII в. записки княгини Долгорукой⁴¹.

Предметом специального исследования явились эти записки в работе Р. И. Лихтман, посвященной московскому просторечию XVIII в.⁴² О речевом складе Долгорукой в работе читаем следующее: «Особенности языка автора, москвички, складывались в Москве (вслед за мужем она едет в Сибирь, в ссылку, где живет десять лет; конец жизни она проводит в Киеве, в монастыре, где и пишет свои «Записки»), мы предполагаем отсутствие влияния на ее язык говоров Сибири или украинского языка. Речь Н. Долгорукой, представительницы московского общества, следует считать образцом московского просторечия первой половины—середины XVIII в.»⁴³ Как можно, только предполагая отсутствие в этой речи влияний иноречевых культур, считать последнюю о б р а з ц о м московского просторечия? Вряд ли можно отвлекаться от такого существенного факта, как довольно значительные проявления в записках княгини Долгорукой следов украинского влияния в области орфографии, о которой упоминается мимоходом в подстрочном примечании: «Особенностью орфографии памятника является употребление во многих словах *и* вместо *ы*, черта, очевидно, чисто графическая, не отражающая каких-либо особенностей произношения»⁴⁴. Признание подобной черты правописной и вместе с тем чисто графической явно противоречиво. При отрицании влияния украинского языка появление в «Записках» Долгорукой многочисленных написаний буквы *и* в соответствии с русским *ы* представляется нам немотивированным: княгиня, по ее словам, писала воспоминания для родственников, а они были русскими; с какой же стати, обращаясь к ним, чисто формально заменять правописную русскую манеру манерой украинской?

⁴¹ «Своеручные записки княгини Натальи Борисовны Долгорукой». СПб., 1913.

⁴² См.: Р. И. Л и х т м а н. Из истории московского просторечия в середине XVIII в. (На материале «Записок Натальи Долгорукой»). Автореф. канд. дисс. Омутнинск, 1953; О н а ж е. К вопросу о вокализме московского просторечия в XVIII веке. «Уч. зап. Дагестанского гос. ун-та». Махачкала, 1960.

⁴³ Р. И. Л и х т м а н. Из истории московского просторечия в середине XVIII в., стр. 3.

⁴⁴ Р. И. Л и х т м а н. К вопросу о вокализме московского просторечия в XVIII веке, стр. 287.

Заслуживает внимания и другая орфографическая особенность «Записок» — «почти полный отказ автора от буквы *ѣ*»⁴⁵. Не является ли это приноровлением к украинской орфографии? Характерно, что некоторые тексты с запада южновеликорусской территории, из мест, сопредельных с украинскими, отличается та же особенность⁴⁶.

Не считаем специфически московской или, напротив, украинской особенностью, о которой говорится следующее: «. . . ряд сочетаний двух гласных на конце слова в заударном положении не сохраняется. Это — сочетания гласных с интервокальным *ј*. Часто вместо них пишется одна буква: сочетание *ии* находим только раз — *церемонии* . . . все остальные многочисленные примеры написаны с одним *и* — *стихи*. . . («стихии»), *о рождени* . . . *в гварди*. . . *из галантери*. . . *всякие приключени*»⁴⁷. Подобные написания в ту эпоху в широкой русской письменности были сравнительно обычны. «Записки» выделяет лишь регулярность этих написаний.

Написания *на[у]чил* (в ркп. *начил*) или *не[у]мела* (в ркп. *не мела*) намекают на склонность автора к *в*-билабиального образования или *у* неслоговому: в украинском произношении — *наўчати*, *не вмю*. Не случайными в свете последних фактов представляются пропуски предлога *в* в сходных фонетических условиях: привести на память все то, что случилось мне жизни (вм. *в жизни*) моеи; девеносто версть отъ города какъ отъехали, первой (вм. *в первой*) провинциальной городъ приехали.

Не согласуются с представлением о московской фонетике случаи вроде *цара* Давида, как громъ *гранетъ*, а также: *дла* таво; луга *потоплаитъ* вода; *каласки* были малинки (ср. предшествующее написание: вышли изъ калясокъ); с *апрела* по сентябрь.

Любопытен один лексический факт: онъ *вундоторъ* всему моему благополучию таперешнему. В украинском *фундатор* «основатель».

Напрашивается вывод: записки Долгорукой едва ли могут быть причислены к разряду надежных источников по истории московского говора.

⁴⁵ Там же, стр. 290.

⁴⁶ См.: С. И. Котков. Южновеликорусское наречие в XVII столетии. (Фонетика и морфология), стр. 47.

⁴⁷ Р. И. Лихтман. К вопросу о вокализме московского просторечия в XVIII веке, стр. 302.

Подведем некоторые итоги. Московский говор в его истории на протяжении семи десятилетий неоднократно привлекал внимание исследователей русского языка, но и поныне ясных представлений о его конкретном облике в те или иные исторические эпохи в науке не сложилось. Объяснение этому следует искать не только в общей незавершенности синтетической истории русского языка, но и в недостаточном исследовании соответствующих источников. Последнее обусловлено и незнанием значительного круга подобных источников, принадлежащих XVII—XVIII вв., и односторонним характером изучения уже известных русистам источников — едва ли не исключительно фонетико-морфологическим. Неосведомленность в старой русской письменности нередко заставляет исследователей ограничиваться материалами публикаций. Воспринимаемые без глубокого археографического анализа, материалы эти иногда неверно интерпретируются. Следствием являются ошибочные заключения. Да и состав привлекаемых публикаций ограничивает возможности исследования — не отвечает задачам изучения старинного говора Москвы в его широком функционировании, в среде основного московского населения, а не только в столичных верхах. Становление и развитие московского говора в течение целого ряда столетий протекало в условиях непрерывного обновления состава его носителей, обновления, определяемого прежде всего объединяющей ролью Москвы. Обыкновенно это обстоятельство не принимают во внимание, а между тем без его учета историческое изучение говора Москвы не может быть плодотворным.

Значительная роль в истории говора речевого склада пришельцев — представителей разных диалектных групп обязывает исследователя московского говора строить его историческое изучение на широком круге источников, чтобы с наибольшей достоверностью можно было вычленить, с одной стороны, то общее, что составляло столичный говор, с другой, — элементы несродные ему, привнесенные извне, периферийного характера. Оптимально такое изучение говора обеспечивают только памятники сравнительно позднего времени, начиная с XVII столетия. Однако в свете их показаний представляются более надежными и данные более ранних памятников по тем явлениям говора, которые в текстах прослеживаются в течение ряда веков. Материалы эти довольно обширны и частью опубликованы. В старых

изданиях они рассеяны в массе актов ой письменности. Возможно, это и привело к тому, что они оказались вне поля зрения историков русского языка. Книга «Московская деловая и бытовая письменность XVII века» является первым опытом издания с о б р а н и я подобных источников, при этом издания лингвистического ⁴⁸.

Рукописные материалы аналогичного свойства, до сих пор не изданные и не исследованные историками языка, можно сказать, значительны. Так, в Центральном государственном архиве древних актов выделяются в этом отношении фонды Архива Московской Оружейной палаты. Назовем, к примеру, ф. 232 (Государева и Царицына мастерские палаты). В нем среди иных рукописей находим и такие, в которых бьется живая речь простого московского люда. Это материалы «о мастеровых людях, изготовлявших царское платье и обувь (портные, шапочники, чоботники, кружевники и пр.); о московских слободах — Кадашевской, Хамовнической. . . , о торгах и промыслах тяглецов Кадашевской слободы; о состоянии царских хамовных (полотняных) мануфактур; о положении хамовников (ткачей). . . , о Московской Кисловской слободе» ⁴⁹. Любопытны с этой стороны и материалы ф. 396 (Оружейная палата) и некоторых других, скажем, ф. 220 (Казенный приказ), ф. 1245 (Приказ золотого и серебряного дела) и т. д. ⁵⁰

В Отделе письменных источников Государственного Исторического музея в ф. 440 (И. Е. Забелин) имеются «документы и книги дворцовых приказов и учреждений о слободах Москвы (дворцовых, казенных и др.): Барашской, Бронной, Воронцовской, Гончарной, Екатерининской, Кадашевской, Огородной, Станочной, Таганной, Хамовной — судные дела тяглецов разных слобод, купчие на дворы, записи поручные, челобитные, сказки, памяти,

⁴⁸ Характеристику издания см. в рецензиях Г. А. Богатовой («Филол. науки», 1969, № 1, стр. 137—138), В. Кобриня («Новый мир», 1969, № 3, стр. 271—274), Г. А. Хабургаева (ВЯ, 1969, № 3, стр. 141—146). См. также отзыв Т. Мазур в заметке «Берегите письма» («Неделя», 1968, № 50).

⁴⁹ «Центральный государственный архив древних актов. Путеводитель», ч. II. М., 1947, стр. 60.

⁵⁰ Подробнее об этих и других интересных в том же отношении фондах сообщается в кн.: «Обзор документальных материалов Центрального государственного архива древних актов СССР по истории г. Москвы с древнейших времен до XIX в.». М., 1949.

докладные выписи, наказы, дело о размежевании земли Таганной и Кузнецких слобод (1619—1698)»⁵¹.

Переходя к более позднему времени, нельзя не обратить внимания на ф. 32 (Московский городской магистрат) в Государственном историческом архиве Московской области. В нем представлены материалы с 1725 г.⁵²

Мы назвали всего лишь несколько фондов, но даже по конспективным данным кратких путеводителей круг подобного рода источников в целом довольно внушительен. С точки зрения изучения московского говора в его историческом развитии исследование этих источников является крайне необходимым и, особенно в области лексикологии, необыкновенно перспективным.

⁵¹ «Путеводитель по фондам личного происхождения Отдела письменных источников Государственного Исторического музея». М., 1967, стр. 115.

⁵² См.: «Государственный исторический архив Московской области. Путеводитель». М., 1961, стр. 61.